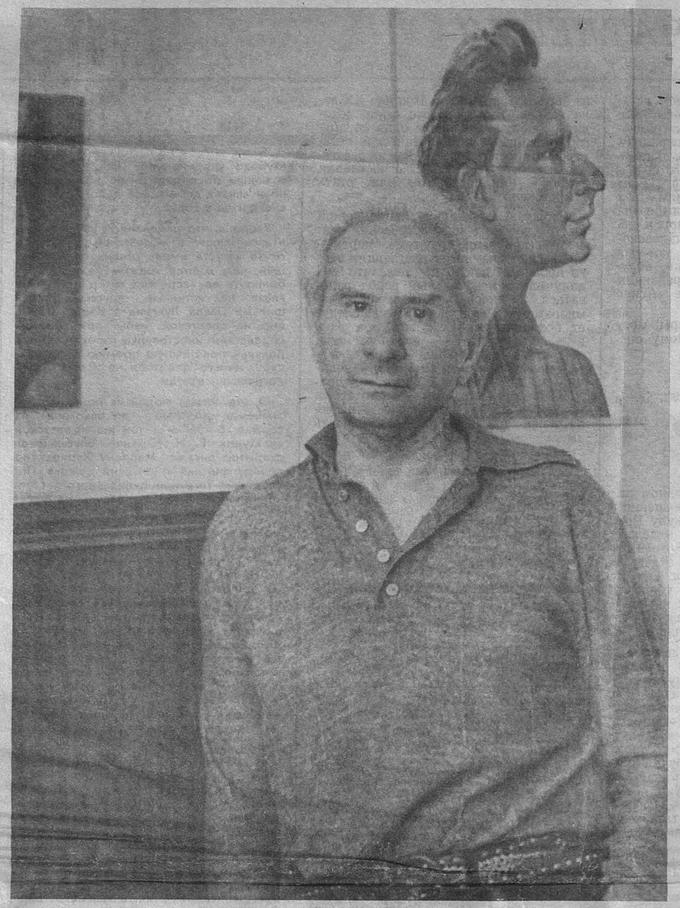
Лит. и жизнь (приложение к газ. «Сов. культура»). – 1990. – 30 авг. (№ 35). – С. 8–9.



Александр ВОЛОДИН

«...И ВОТ СВОБОДЕН. И ОТНЫНЕ НИ ПЕРЕД КЕМ НЕ ВИНОВАТ»

ИЗ СТИХОПРОЗЫ

Где деревья мои?..

Где деревья мои! Позабытые мною деревья!
Травы где! Позабытые травы мои!
Речки где! Я из вашего вышел доверья.
Были речки! Струились струи!
Сколько мимо хожу, сколько мимо хожу — и не вижу.
Соловьи онемели. Хотя — где-то есть, говорят.
Я и сам не заметил, когда из игры этой вышел.
— Это дуб!
— Это вяз!
— Это стриж!
— Это дрозд!
— Это сад!..
Это сад, это сад! Придорожный запущенный садик.
Все же сад! Я забыл его, сам не припомню, когда.
Оглядел его спереди, обошел, оглядел его сзади!
Это сад — вспоминаю. А там, где забор, — резеда!..

◇

ЗА ПИОНЕРОВ меня исключали красиво. Перед строем нескольких пионерских лагерей. Старший пионервожатый произнес искреннюю горячую речь. Еще большее впечатление произвело на всех выступление начальника «базы», человека уже немолодого.

— Мы таких расстреливали в девятнадцатом году! — исступленно гремел он.

Я был виноват в том, что над своей койкой приколол открытку с фотографией любимого артиста Качалова (в роли Пер Бакста из пьесы «У жизни в лапах»). Почему я приколол эту открытку, а не Ворошилова или Буденного? Против чего я! Что я хочу этим сказать!

Когда я, окончив десятилетку, работал учителем в деревне, меня исключили уже из комсомола. Я читал ученикам стихи Есенина и вообще говорил не то, что было положено.

В сорок третьем году на фронте замполит нашего подразделения, прибежав из штаба, радостно объявил:

— Всем взводом вступаем в кандидаты партии!

А как раз тогда по армии прокатился неуставной вдохновенный лозунг «Коммунисты, вперед!»

Он раздал нам тетрадочные листочки, помог написать заявления. Чтоб не оголять передовую, сам снес их в штаб и вернулся с нашими кандидатскими книжечками. Такую получил и я.

Вот этот, тогда совершенно естественный поступок, стал впоследствии стыдом моей жизни.

Когда я пришел в партбюро Ленинградской писательской организации и, как некогда называлось, «положил на стол партбилет», секретарь вздохнул:

— Первый.

На собрании я не был — в заявлении попросил, чтобы его рассмотрели в мое отсутствие, поэтому пишу, как мне рассказали.

В повестке дня: «Персональное дело Володина». Из зала: «А какое исключение, он же сам просит?» С трибуны разъяснили, что такой формулировки нет. Однако проголосовали, и заявление было удовлетворено.

Я рано пред судом предстал.
Из пионеров исключенный,
на беспартийность обреченный,
я виноват был, хоть и мал.
Не помню, за какие вины
меня низринул комсомол.
Таким в рядах не место, мол.
Без грусти я его покинул.
Когда окончилась война —
опять беда. Гремят процессы.
Космополит — к чему протесты —
был, сознаюсь, в те времена.

Последующие года —
беда, еще одна судимость.
Не то пишу. А уж седины.
Виновен был я и тогда.
Судим, в который раз подряд,
потом я партию покинул.
И вот свободен. И отныне
ни перед кем не виноват.

◇

ПОЧЕМУ думают, что смерть — это страшно? Потому что больше не будет радостей жизни, ее удовольствий? Нет, смерть страшна не этим. А наступающим безразличием к ее радостям и наступающим интересом к ее болям, ее лишениям и разочарованиям. Разумным, правильным разочарованиям во всем... Так смерть отнимает дни у жизни. Как будто ей мало — долгая жадная смерть отнимает у маленькой щедрой жизни.

Рассвет

Ошибки, провалы и кляксы на жизни.
Смолчал, когда надо ответить,
сорвался, где надо смолчать.
Ошибки и кляксы на жизни, которых не смыть.
И мысли, которые всех неврастеников мучат к рассвету.
У каждого мысли свои и по-своему мучат.
А жизнь моя — это подарок.
Война подарила ее или Бог подарил, неизвестно.
Не быть благодарным грешно.
А близкие люди, которым ты нужен,
не думать о них не грешно ли!..
Грехи и ошибки и пятна на жизни,
и черные мысли к рассвету.

◇

Сначала трясся на подножке
от контролеров поездных,
потом проник в вагон, к окошку,
потом на мягкой полке дрых,
потом утратил осторожность,
не помню сам и как, отстал.
Один стою в пыли дорожной,
уходит медленный состав,
дорожный разговор уехал
и маленький портфель идей,
а я стою как бы для смеха,
для развлечения людей,
которые глядят из окон,
все едут мимо поезда...
Стою в сомнении жестоком,
что они едут не туда.

◇

Я с плохими людьми
сам стал зол, нехорош.

С. БЫЛ ТОЩ, удлинен, лицо-профиль, лицо-ножик. Непонятно, где размещался его непостижимый для нас ум, его загадочная эрудиция. Он преподавал в Институте кинематографии сценарное мастерство. Мы по очереди садились к его столику и излагали свои сумбурные, расплывчатые замыслы.

Он слушал, обратив к нам серьезное узкое лицо. Светлые глаза с навесами напоминали изображения французских просветителей. И тут же предлагал парадоксальный сюжет, безупречно проясняющий наше невнятное. Это напоминало американскую картину «Анна Каренина», где в автомат бросали монетку, внутри что-то щелкало и выскакивала свечка.

Мы знали, что у него множество патентов на технические изобретения. Мы знали, что у него гигантская картотека анекдотов. Мы знали, что он гомерически остроумен. Мы не знали, что он был референтом Жданова и заведующим отделом кино у Сталина. Однажды в его приемной он достал из кармана зажигалку, чтобы прикурить. И сразу же боковым зрением увидел летящую на него фигуру с гирькой на ремешке. Успел, однако, отклониться, и телохранитель вождя сказал ему: «Счастлив твой бог». Узнали об этом потом, когда он начал пить. Запрется от семьи и пьет.

Годы прошли. И вдруг во мне слабо проклюнулось его умение, это его щелканье. Иной раз выскакивает свечка. Себе не могу помочь — другим иногда получается.

С годами становлюсь добрее,
врагов моих теперь жалею.
Они забились по углам
и тоже, видимо, стареют,
и, может быть, меня жалеют.
Теперь мой худший враг — я сам.

◇

ДОСТОЕВСКИЙ писал, что длительная дискриминация усугубляет качества человеческой натуры как хорошие, так и плохие. Евреи, мне кажется, разделились на две категории, не похожие одна на другую, как негры и эскимосы. Одни — бескорыстные, непрактичные, высокодуховные, другие — мелочные, беззастенчиво наглые, глупые. Если еврей глуп — он концентрирует в себе глупость всего народа.

Вот и устал я. Но не от труда.
Когда под тем или иным предлогом
работать не давали — вот тогда
Я уставал. Не сразу. Понемногу.
Я уставал тогда, когда молчал
о том, о чем нельзя было молчать.
Я уставал тогда, когда прощал
то, что нельзя было прощать.
Я уставал тогда, когда писал
то, что не надо было мне писать.

◇

ЭЙДЕЛЬМАН — человек Возрождения. Как он забрел сюда, к нам? Знавший все кровавые, позорные, самоубийственные преступления человеческой истории, был оптимистом. Хотя и объяснял это своеобразно: «Мы верим в удачу,— не одноразовый подарок судьбы, а трудное движение с приливами и отливами... Верим в удачу, ничего другого не остается». Он верил, когда почти никто не верил. Но в те мгновения, когда он это говорил, мы все, сидевшие вокруг Учителя, тоже верили! И всем на время становилось легче. На время, на время.

А если не будет, не будет,
не будет потом ничего!
Нас атомный взрыв не разбудит,
мы и не услышим его!
Так надо ль посты и награды
менять на суму и тюрьму!..
Но кажется, все-таки надо,
не знаю и сам, почему.

◇

ГЕНА Шпаликов — поэт шестидесятых годов. Короткая жизнь его целиком уместилась в том времени, которое с войны еще дышало тяжело, но уже сулило неисчислимые радости жизни. Он писал так, как будто заранее думал о нас, чтобы мы вспоминали об этих временах наивных надежд, когда они станут прошлым. В жизни он успел быть только молодым. Его любили. Его любили все.

Я встретил его однажды в коридоре киностудии, когда он работал над своим последним сценарием. Вид его ошеломил меня. В течение двух-трех лет он постарел непонятно, страшно. Он кричал, кричал! — Не хочу быть рабом! Не могу, не могу быть рабом!..

Он спивался и вскоре повесился.

Как зависит дар художника от того, на какой максимум счастья он способен. У Шпаликова этот максимум счастья был высок поразительно. Соответственно так же глубока и пропасть возможного отчаяния.

А легко ль переносить?..

А легко ль переносить,
сдерживать себя, крепиться,
постепенно научиться
в длинном рабстве тихо жить!
И навеки кротким стать,
чтоб не выйти из терпенья,
угасая постепенно,
и смиряться, и прощать!
Мол, дотерпим до зимы...
Проползли ее метели.
Так до лета неужели
как-то не дотерпим мы!
А потом до той зимы,
ну случится, и до лета,
ну случится, до тюрьмы
(где-то в смысле шутки это).
И не то перетерпели!
Ведь не мы одни теперь,
терпят все, и те и эти,
но доколе так терпеть и
сколько можно так терпеть!
Мол, дотерпим до зимы...
Проползли ее метели.
Так до лета неужели
как-то не дотерпим мы!
Видно, веком суждено,
чтоб стояли на коленях.
Горячиться поздно. Но
я о детях тем не менее!..
Как же это поколенье!
Тоже! Что же, а потом
и помримся на том!
Мол, дотерпим до зимы...
Проползли ее метели,
так до лета неужели
как-то не дотерпим мы!..

◇

Надо следить за своим лицом,
чтоб никто не застал врасплох,
чтоб не понял никто, как плох,
чтоб никто не узнал о том.
Стыдно с таким лицом весной.
Грешно, когда небеса сини,
белые ночи стоят стеной,
белые ночи — черные дни.
Скошенное! (Виноват...)
Мрачное! (Не уследил...)
Я бы другое взял напрокат,
я б, не снимая, его носил,
я никогда не смотрел бы вниз,
скинул бы переживаний груз.
Вы оптимист! И я оптимист.
Вы веселитесь! И я веселюсь.

◇

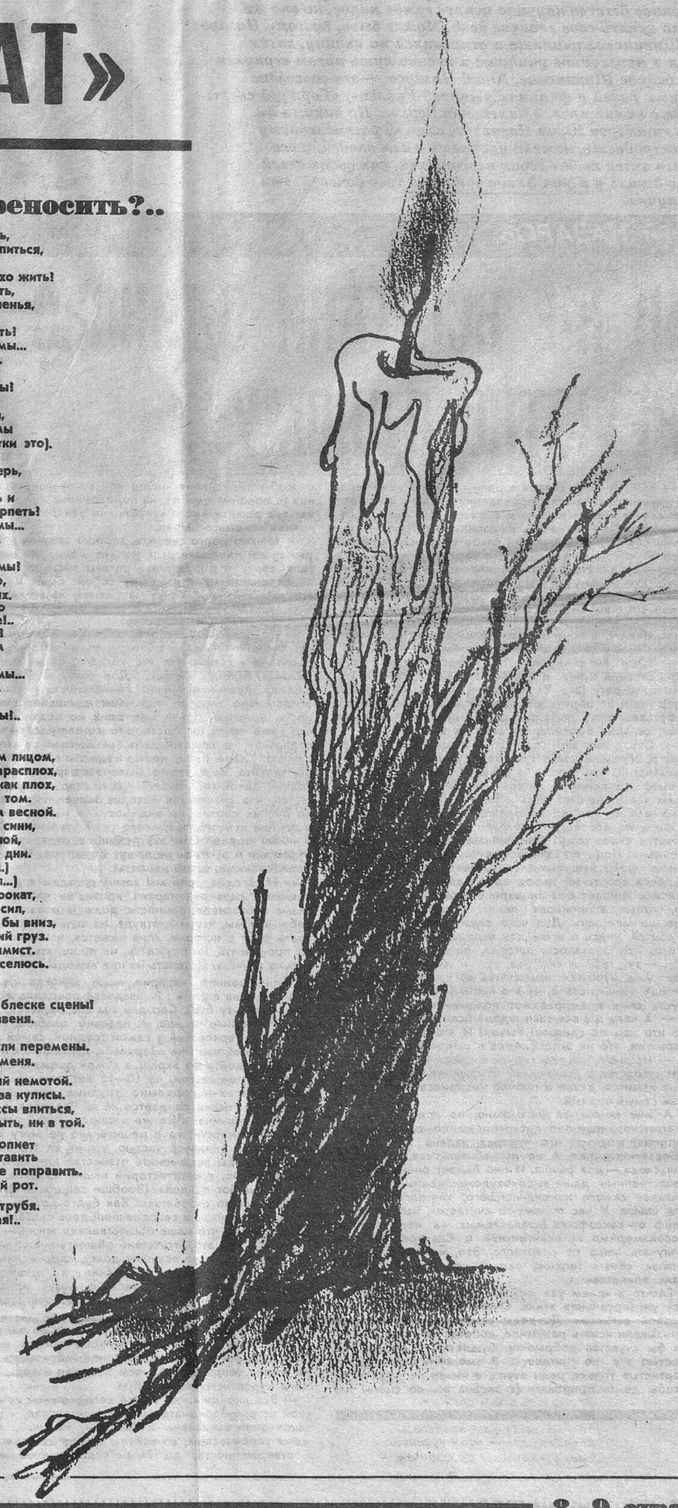
Как безупречна гибель в блеске сцены!
Порок кляня. И шпагою звеня.
Но в жизни
смерть постигли перемены.
Сначала речь покинула меня.

Стою без слов, сраженный немотой.
Не уползти, не скрыться за кулисы.
И нет охоты каплей в массы влиться,
ни в этой массе каплей быть, ни в той.

А правда ныне смело вопиет
и требует снести и переставить
и срочно непотребное поправить.
Разверст ее кровоточащий рот.

И вот — вперед. Ликуя и трубя.
Какое время, полоса какая!..

Забыл слова. Смолкаю. Отвыкаю.
Сначала отвыкаю от себя.

Друзья мои, остались только вы.
Рой людей вращаются несметны,
но, кажется, среди людей планеты,
друзья мои, остались только вы.

Друзья мои, растите надо мной.
Что мне не удалось, пусть вам дается.
Пускай вам любится, пускай поется.
Друзья мои, растите надо мной.